



Давид Яковлевич Айзман

Ледоход

АЙЗМАН Давид Яковлевич [1869–1922] — русско-еврейский беллетрист. Лит-ую деятельность начал в 1901, первый сборник рассказов вышел в 1904 (изд. «Русского богатства», СПб.). Внимание А. привлекала прежде всего еврейская среда; его повести и рассказы: «Ледоход», «Кровавый разлив», «Враги» и др. — беллетристическая интерпретация так наз. «еврейского вопроса» (бесправное положение евреев в царской России, их взаимоотношения с окружающим населением и т. д.), выдержанная в обычном либерально-народническом духе. Оставаясь в общем верным старой реалистической манере письма, А. по ряду внешних признаков примыкает к группе писателей (самым ярким ее представителем является С. Юшкевич), к-рая разрабатывала условный «русско-еврейский» стиль, стремясь оттенить строй еврейской речи.

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0012
III.....	.0017
IV.....	.0022
V.....	.0031
VI.....	.0037
VII.....	.0044
VIII.....	.0052
IX.....	.0060
X.....	.0065

Д. Айзманъ Ледоходъ

Пароходика еще не было видно, но надъ зеленой стѣной высокихъ камышей, загоравшей рѣку почти до самой половины, уже клубился жиденъкій, бурый дымокъ, и на пристани поднялась лѣнивая возня.

Люди и хлопотали, и галдѣли, что-то тащили и убирали, но замѣтно было, что все это они продѣлываютъ вяло, безъ увлеченія и интереса, по привычкѣ, изъ неодолимой необходимости, скучной и нудной. Даже ругались нехотя, и одинъ только пароходный агентъ, рыжій, кривоногій еврей, въ грязномъ, чесучовомъ пиджакѣ, съ изумительно длинными, отвисшими карманами, орломъ носился назадъ и впередъ и во всю глотку, съ видимымъ наслажденіемъ, оралъ и отдавалъ приказанія.

На пристани, — двухъ десяткахъ гнилыхъ, осклизлыхъ досокъ, — этотъ щупленькій человекъ былъ царемъ. Здѣсь была его сила и власть, и ужъ онъ пользовился этимъ счастьемъ, широко и съ упоеніемъ. Онъ командовалъ съ такой суетливостью, съ такой

напряженной крикливой озабоченностью, какъ если бы и пристани, пароходу, и всѣмъ людямъ, на немъ находившимся, угрожала немедленная и страшная опасность. Онъ бранился, угрожалъ, ужасался, раздавалъ подзатыльники, — и старый извозчикъ Онисимъ Заверюха, поджидавшій пассажировъ, не дерзалъ взойти на пристань, а скрывался на берегу, за будкой, и изъ этого безопаснаго далека, задумчиво поглядывая на орла въ чесуѣ, тихонько бормоталъ:

— Отто окаянный!.. Правду люди кажутъ: не агентъ, а гинтъ [1].

— Прочь оттудова! — горланилъ орелъ, указывая короткой рукой на молоденькую, лѣтъ семнадцати, дѣвушку, стоявшую на краю пристани. — Мамзель, потрудитесь оттудова прочь!.. Ишь, смотри-ка на нее! Думаетъ, когда въ шляпкѣ, такъ надо тамъ стать... Колотушку съ парохода будутъ бросать. Колотушка очень станетъ разбирать, кто въ шляпкѣ, кто въ платкѣ. Такъ по головѣ трахнетъ — мое почтеніе...

Пароходъ выползъ, наконецъ, изъ-за камышей.

Гулко хлопая колесами и распространяя тяжелый смрадъ — смѣсь запаховъ машины, соленой рыбы и дыма, — грязненькій, убогій, съ хрипомъ, съ храпомъ, вздрагивая и покачиваясь, подошелъ онъ къ пристани и навалился ободраннымъ бокомъ на край ея. И оттого, что пассажиры — ихъ было десятка три — столпились на одной сторонѣ, хранящій Левіаѳанъ накренился на эту сторону, а другую быстро поднялъ кверху.

— Назадъ! На той бокъ, на той бокъ! — отчаянно затопалъ ногами агентъ. — Назадъ, мазепы, арестанты...

Пассажиры почти всѣ были палубные, — народъ бѣдный, обшмыганный и покорный. Классныхъ было всего трое: какой-то военный, сѣдоволосая дама съ четырьмя одинаковыми собачками и судебный слѣдователь, который былъ до того пьянъ, что сходя съ парохода чуть не свалился въ воду.

— Билеты ваши, билеты подавайте, черти, мазепы босоногіе... Благодарю васъ, барыня. Дама съ четырьмя собачками величественно прошла передъ агентомъ. — Билеты наготовьте!

Однимъ изъ первыхъ сошелъ съ парохода молодой человекъ лѣтъ двадцати-двухъ, смуглый, худощавый, съ легкимъ пушкомъ на подбородкѣ, съ большими, ласково улыбающимися глазами. Онъ улыбался своей сестрѣ, — той самой молоденькой барышнѣ, которой только-что угрожалъ колотушкой распорядительный агентъ въ чесучѣ. Но дѣвушка еще не замѣтила пріѣхавшаго и, съ видимой тревогой, глазами искала его въ толпѣ на пароходѣ.

— Вотъ же я, Соня! — сказалъ молодой человекъ, и взялъ сестру за руку.

— Ахъ, Яковъ!

Они обнялись и крѣпко расцѣловались.

— Уходите-съ отсюда, уходите! — свирѣпо заоралъ вдругъ агентъ. — Отъ, нашли мѣсто гдѣ цаловаться! Что ты на нихъ скажешь, а!

Держась за руки, молодые люди отошли въ сторону.

— Здоровъ?.. Пріѣхалъ благополучно?

— Вполнѣ благополучно... Дома какъ?.. А ты ничего... выглядишь хорошо.

Въ глазахъ Якова, оглядывавшаго сестру,

появилось то выраженіе безпокойства и тайнаго страха, которое часто бываетъ у человѣка, когда онъ ближнему, горячо любимому существу, говоритъ слова ободренія, а самъ словамъ этимъ не вѣритъ, и весь холодѣетъ и сжимается оттого, что вѣрить нельзя...

— Да, мнѣ лучше, я поправляюсь... Ну что же, рассказывай, парижанинъ, говори: вѣдь много интереснаго видѣлъ.

— Господинъ... баринъ... пожалуйста чемоданъ... Извозчика надо?..

— Я повезу.

— Вотъ я повезу.

— Вотъ лучше я.

На пристани и на берегу, между извозчиками, шла уже отчаянная борьба за сѣдока, и человѣкъ десять накинулось теперь на Соню и ея брата. Рвали изъ ихъ рукъ чемоданы, рвали ихъ самихъ, тащили за полы, за рукава, расхваливали своихъ лошадей, свои фургоны, самихъ себя, и съ умоляющими нотами и жестами просили «дать заработокъ».

Яковъ остановился въ смущеніи: картина давно знакомая, хорошо знакомая; но за два

года отсутствія онъ уже отвыкъ отъ нея, и теперь эта дикая борьба за грошовый заработокъ производила на него особенно гнетущее, почти ошеломляющее впечатлѣніе. Онъ стоялъ растерянный, и ему какъ то неловко и совѣстно было, что есть у него вещи, чемоданъ, подушки, что его упрашиваютъ, въ немъ нуждаются, что отъ него зависитъ «осчастливить» извозчика, предоставивъ отвозить себя...

— Господинъ... баринъ... дозвольте... я дешево возьму, я отнесу ваши вещи.

Съдой, измученный еврей, фигуркой похожій на мальчика, угасшими глазами смотрѣлъ на Якова и протягивалъ къ нему руки, какъ въ молитвѣ.

— Я отнесу... за пять копѣекъ... до дому, до вашего, до самой квартиры... куда надо... куда захочете.

Но уже одинъ изъ извозчиковъ вырвалъ изъ рукъ Якова чемоданы и, взваливъ ихъ на свой фургонъ, сталъ взбираться на него самъ.

— Садитесь же, что ихъ слушать! Развѣ они что понимаютъ! Развѣ у нихъ кони! — весело горланилъ извозчикъ-побѣдитель. — Пол-

зуть, какъ вошь по струнѣ. А я васъ доставлю въ двадцать минутъ, въ одинъ моментъ... Посмотрите, какой фургонъ, прямо экспресный поѣздъ, и больше ничего... Садитесь, садитесь, сейчасъ увидите, какъ полетитъ.

Съдой еврей съ тоской и болью смотрѣлъ на чемоданы Якова, которыхъ ему бы, пожалуй, и не поднять, и губы его беззвучно шептали...

«Экспресный поѣздъ» тронулся.

Дорога шла вдоль рѣчного берега, и грязь была зѣсь такая, что лошади, жалкія и облѣзлыя, съ язвами на спинѣ и опухолями на шеѣ и колѣняхъ, еле вытаскивали ноги. Весной рѣка здѣсь разливалась и мѣсяца на полтора превращала окрестности въ непроходимую топь. И теперь еще, лѣвѣе, у камышей, сверкало обширное болото, гнилое и смрадное. Ядовитыя испаренія желтоватою мутью тяжело стлались надъ какой поверхностью, медленно, но неудержимо расползались по сторонамъ, обволакивали и городъ, и деревни и развивали въ нихъ злыя болѣзни...

Во время разлива къ рѣкѣ добираться приходилось «горой», и это было мученіемъ и для лошадей, и для людей. Къ концу апрѣля, когда подсыхало, ѣздили уже «низомъ» по мѣстности, которая не измѣнила своего вида съ самаго того момента, когда ее создалъ Господь...

И теперь по этой мѣстности тащилось нѣсколько подводъ и плелись люди, изломан-

ные и скрюченные подъ тяжестью огромныхъ узловъ...

Направо отъ дороги поднимался крутой, сѣрый обрывъ, усыянный множествомъ небольшихъ камней. Здѣсь были каменоломни. Рѣзали камень, возили въ городъ, но тамъ онъ никому не былъ нуженъ, такъ какъ ужъ нѣсколько лѣтъ кряду были неурожаи, дѣла шли плохо, и никто не строился... Мѣстами къ дорогѣ подбѣгала открытая степь, и въ ней все было выжжено засыпано пылью, и только кое-гдѣ торчали умирающія стебли будяка, да одинокіе кусты колючекъ... Все вокругъ имѣло видъ убогій, жалкій, все говорило о нищетѣ, неустройствѣ,- и болью подавленности, и тоской умиранія вѣяло отъ разбросанныхъ мѣстами хатъ и отъ встрѣчавшихся изрѣдка человѣческихъ фигуръ...

— Такъ рассказывай же, — обратилась Соня къ брату. — Я такъ ждала тебя... Видѣлъ ты много... Видѣлъ Герця?

— Видѣлъ...

Въ глазахъ дѣвушки отразилась не то зависть, не то нетерпѣніе.

— Необыкновенный онъ, правда? Удиви-

тельный?

— Ничего необыкновеннаго я въ немъ не нашель, — спокойно отвѣтилъ Яковъ. — Удивительно только то, что человѣкъ этотъ могъ увлечь за собой такъ много неглупыхъ людей.

Соня встрепенулась.

— Такъ!.. ты все прежній!.. На тебя ничто не вліяетъ, и ты все-таки противникъ сіонизма.

— А ты полагаала, что если посмотришь на Герцля, то такъ сейчасъ же и перебѣжишь на его сторону? — усмѣхнулся Яковъ.

— Не могу я это слышать! — на лицѣ Сони появилось выраженіе острой боли. — Я ужъ вижу, въ чемъ дѣло: ты сейчасъ станешь мнѣ пѣть про «общую работу», про великіе идеалы всего русскаго народа, и все такое... А я тебѣ скажу, что все это слова, слова и слова... И химера.

— Разумѣется... Зато ужъ возсозданіе еврейскаго царства — не химера.

— Конечно, нѣтъ! — съ силой сказала Соня. — Это вещь трудная, страшно трудная, но это ни въ какомъ случаѣ не химера... Это не

химера уже потому, что этого хочет народъ, — понимаешь? — весь народъ! А если чего-нибудь хочет цѣлый народъ, то онъ своего добьется.

— «Цѣлый народъ, цѣлый народъ»... Въ томъ-то и штука, что народъ вовсе не съ вами. Народъ хочет обновить свою жизнь, но народъ нисколько не стремится въ Сіонъ.

— Нѣтъ, онъ туда стремится! Онъ стремится туда, потому что лучше васъ, искалченыхъ, слабыхъ и сбитыхъ съ толку неврастениковъ, понимаетъ, что внѣ Сіона никакое обновленіе для него невозможно...

Соня очень походила на брата: тотъ же носъ съ горбинкой, тѣ же темные, выразительные глаза, тѣ же полныя губы и продолговатый овалъ лица. Но у нея щеки были впалыя, глаза глубже, и лежали подъ ними густыя, синеватыя тѣни. И вся она была какъ-то нервнѣе, стремительнѣе брата, сосредоточеннѣе и строже. Въ голосѣ Якова порою слышалось сомнѣніе, иронія, — нѣжная, печальная иронія, та самая, которая не дешево обходится, которая рождаетъ въ сердцѣ и боль, и тоску, а иногда и холодное

отчаяніе. Соня же сомнѣній не знала, не любила ни ироній, ни шутокъ, говорила всегда серьезно, а спорила съ горячностью, со страстью, съ вѣрой незыблемой. Она не любила недомолвокъ, презирала колебанія, рубила съ плеча, и ужъ если вѣрила или любила, то до самозабвенія, до абсурдныхъ словъ и поступковъ. Ея лицо, когда она спорила, дѣлалось строгимъ, суровымъ, глаза разгорались, разгорались и щеки, и при взглядѣ на нее становилось ясно, что переубѣдить ее, или даже только поколебать, невозможно такъ же невозможно, какъ не возможно сдѣлать холоднымъ огонь... И еще становилось ясно, что недолговѣчна она, эта хрупкая дѣвушка, съ узенькими плечиками, съ тоненькой шеей, съ голосомъ, въ которомъ и ненависть мятежника, и пламень пророка, и ужасъ передъ тяжестью жизни...

— И погоди, погоди! посмотришь, что будетъ съ нашимъ движеніемъ лѣтъ черезъ во-семь, десять! — вскричала Соня.

Яковъ не отвѣтилъ. Но нѣсколько минутъ спустя, обводя задумчивымъ взглядомъ разстилавшійся впереди унылый пейзажъ, онъ глухо проговорилъ:

— Если бы нашлись знающіе, предприимчивые люди, какой отличный портъ можно бы здѣсь создать! А теперь хлѣбъ грузится за десять верстъ отъ города, по этакой вотъ дорогѣ, и доставка его отъ города до пристани стоитъ въ шесть разъ дороже, чѣмъ доставка отъ пристани до Лондона... Почти каждый годъ наводненія уносятъ у нищаго населенія послѣдній скарбъ... Потомъ все гніеть, разлагается, мучаютъ лихорадки, тифы, мрутъ безъ числа... И голодовки, и безправіе, и насиліе, и темнота духовная... ужасъ!..

Соня молчала, но по лицу ея проходили какія-то странныя тѣни, и было видно, что слова брата ее раздражаютъ и злятъ...

Подвода поднялась на пригорокъ. Грязи уже не было, а носилась тучею густая, сѣрая пыль, и сквозь мутную пелену ея затемнѣли

кривые и жалкіе домишки городка, тяжелый куполь собора и огромное зданіе тюрьмы...

Навстрѣчу плелась телѣга съ длиннымъ дышломъ, но лошадка была одна, и это напоминало искалѣченнаго однорукаго человекѣ. На телѣгѣ пьяная баба издавала дикіе, пронзительные возгласы, — она не то плакала, не то пѣла, а мужикъ, тоже пьяный, оглашалъ воздухъ скверной руганью и дѣятельно стегалъ кнутомъ то по одинокой кляченкѣ, то по бабѣ... И бѣлѣли вдали кладбищенскіе кресты и небольшая церковка, и отъ этого крики пьяныхъ людей казались чѣмъ-то непонятнымъ, неправдоподобнымъ...

— Наводненія, отсутствіе порта, тифы и вся эта нищета и уродства — мнѣ до этого нѣтъ никакого дѣла, — угрюмо проговорила Соня. — Ни малѣйшаго!

— Это легко понять, — усмѣхнулся Яковъ, — потому что наводненіе еврейскіе дома вѣдь обходитъ, и тифъ и лихорадки тоже вѣдь въ нихъ не проникаютъ... Что за ребячество, Соня! — повысилъ онъ голосъ. — Развѣ ты и въ самомъ дѣлѣ не видишь связи между этой общей неурядицей и положеніемъ нашего на-

рода?

— Очень ясно вижу. Но я вижу и то, что когда вся неурядица исчезнетъ, и сдѣлается въ Россіи рай земной, намъ все таки будетъ здѣсь скверно.

Въ выраженіяхъ горячихъ и торопливыхъ Соня стала развивать свою мысль. Другіе народы никогда не сживутся съ евреями, — это доказано цѣлымъ рядомъ вѣковъ. Евреи много дѣлали для націй, среди которыхъ жили, двигали впередъ науку, искусство, совершенствовали формы общественной жизни, были всегда первыми въ рядахъ борцовъ за свободу, отдавали всю свою энергію, свои силы и дарованія, и жизнь, и за все это имъ платили потомъ жестокостями, кровавыми расправами, презрѣніемъ и гнетомъ. Евреи вездѣ были паріями, и теперь они тоже паріи, — даже въ самыхъ передовыхъ странахъ, даже тамъ, гдѣ они пользуются всѣми политическими правами. И такъ оно будетъ всегда, всегда... И выходъ поэтому ясенъ: домой, къ себѣ. И не жить больше среди чужихъ, и для чужихъ не работать.

— Все это пустое, — сказала Яковъ.

И онъ сталъ разбивать доводы сестры.

Онъ расходился съ Соней во всемъ. По его мнѣнію, между христіаниномъ-рабочимъ и евреемъ-рабочимъ больше общаго, чѣмъ между евреемъ-рабочимъ и евреемъ-банкиромъ. Раздѣляютъ людей не принадлежность ихъ къ той или иной религіи или національности, а классовыя перегородки. Если даже предположить, что евреямъ удалось бы создать свое государство, то и въ этомъ своемъ углу власть и сила, и всѣ богатства захвачены были бы кучкой патриціевъ, а народъ томился бы въ рабствѣ. Феодалъ еврей нисколько не лучше феодала иныхъ національностей. Все дѣло въ классовыхъ перегородкахъ. Когда эти перегородки будутъ снесены — всѣ люди объединятся въ одну семью, не будетъ ни паріевъ, ни патриціевъ, и еврей сравнятся со всѣми.

— Вздоръ!.. — перебивала брата Соня, — ты говоришь чистѣйшій вздоръ. Я сейчасъ тебѣ это докажу.

Споръ разгорался, ожесточался.

И уже перешли спорщики на личности, и осыпали другъ друга колкостями,

обвиненіями, укорами. Соня упрекала брата въ черствости, въ легкомысліи, въ шаблонно-мъ мышленіи, въ томъ, что онъ «нахватался жалкихъ идеекъ», которыя не сумѣлъ даже переварить. Яковъ обвинялъ сестру въ узости, въ чудовищномъ невѣжествѣ, въ «кугельномъ патріотизмѣ», отъ котораго просто тошнитъ.

IV

«Экспресный поѣздъ», тѣмъ временемъ, переѣхалъ черезъ мостъ, — жалкое ветхое сооруженіе, которое трепетно колыхалось и стонало подъ колесами подводы. Оно стонало такъ жалобно и громко, что становилось жутко, и начинало казаться, будто ѣдешь по живому, страдающему тѣлу... За мостомъ лежали кладбища русское и еврейское. И послѣ смерти люди чуждались другъ друга, уходили въ разныя стороны и огораживались длинными каменными заборами...

На русскомъ кладбищѣ были деревья, пестрѣли вѣнки и цвѣты, кресты стояли высокіе, свѣтлые. Чувствовалась какая-то ласковая уютность, какая-то особенная задумчивая прелесть. Тихо было здѣсь и грустно, и хорошо, смиреніемъ наполнялась душа, и такъ хотѣлось жалости, милосердія, прощенія... А по другую сторону оврага, гдѣ хоронили евреевъ, не было и признаковъ растительности, и все тамъ было сурово и страшно. Въ испуганную толпу сбились тяжелыя надмогильныя плиты, и чернымъ ужасомъ вѣяло и отъ ни-

хъ, и отъ лежавшаго спереди еще незанятаго пространства... Изъ глубины, зигзагами пробиваясь межъ мрачныхъ камней, шелъ глухой и мучительный стонъ, онъ вырывался на свободное мѣсто, выпрямлялся здѣсь, протягивался, и долго трепеталъ, пугающій и непонятный... Можетъ быть, рыдали дѣти надъ отцовской могилой, можетъ-быть, мать убивалась надъ трупомъ первенца, можетъ быть, плакали сами камни — нѣмые свидѣтели неизбывной человѣческой боли...

Начался и городъ.

Показались наполовину поглощенные землей уродливые домишки, изъязвленные желтыми пятнами кизяка и черными нашлепками грязи; потянулись канавы, полныя темной жижи и обросшія по краямъ игловидными колючками. Изъ канавъ шелъ удушливый смрадъ, онъ смѣшивался съ горькимъ запахомъ копоти отъ случившагося наканунѣ огромнаго пожара, и отъ этого трудно было дышать. У канавъ и посреди улицы, въ пыли, возились еврейскія дѣти, полунагія, босыя, и лица у всѣхъ были болѣзненные, зеленые, а у нѣкоторыхъ покрыты чирьями. На пере-

кресткѣ двухъ улицъ, у обгорѣлой бани, съ блаженной улыбкой на отвислыхъ губахъ, стоялъ паренекъ, лѣтъ шестнадцати, въ одной рубахѣ, а дѣти съ радостнымъ визгомъ задирали ему рубаху и плевали на голое тѣло. Паренекъ былъ полоумный, онъ не противился дѣтямъ и тихо хихикалъ. Временами онъ вскидывалъ къ небу свои тусклые, большіе глаза и точно искалъ тамъ кого-то. Но никого не было въ чуждомъ небѣ, и полоумный переводилъ глаза на мучившихъ его дѣтей и начиналъ тихо и быстро бормотать...

— Шлемка, Шлемка, отгони отъ меня собаку, — кашляя и задыхаясь, всхлипывала сидѣвшая на завалинкѣ парализованная женщина. — Шлемка, отчего же ты не идешь?

Шлемка не являлся, а собака, тощая, съ облѣзлымъ бокомъ, съ кровью на мордѣ, не торопясь и тихо рыча, со всѣхъ сторонъ обнюхивала неподвижнаго человѣка и тыкала въ него окровавленной мордой...

Всѣ люди, которые встрѣчались на улицѣ, были жалкіе и хилые, и лица у нихъ были блѣдныя, удрученныя и какія-то встревоженныя. Точно производили гдѣ-то далеко, въ

невѣдомомъ краю, сортировку, отбирали всѣхъ сильныхъ, цвѣтущихъ и довольныхъ и оставляли на мѣстѣ, а все, что было больного, искалченнаго, изнуреннаго, отсылали сюда. И оттого скорбью и уныніемъ вѣяло здѣсь отъ всего, — и отъ жалкихъ лачугъ, темныхъ, полуразрушенныхъ, и отъ черной земли, изъязвленной зловонными лужами, и отъ самого неба, затуфтаго мутною, грязно-желтою тучей... Вся улица, весь околотокъ, весь почти городокъ былъ царствомъ великой нужды, и боли, и муки, и горестныхъ вздоховъ, и неизбывныхъ, бездонныхъ страданій...

Соня продолжала говорить и горячиться, но вниманіе Якова отвлечено было къ другому, и онъ не возражалъ сестрѣ, да почти и не слушалъ ея. Глаза его, выражавшіе печаль и затаенную боль, тихо блуждали по сторонамъ...

Въ этомъ городкѣ Яковъ родился, здѣсь онъ выросъ, онъ зналъ чуть не всѣхъ его жителей, зналъ въ подробностяхъ ихъ тяжелую, горькую жизнь.

Самъ сытый и здоровый, еще мальчуганомъ, онъ ужасался тяжести этой жизни, и она

вызывала въ немъ и напряженныя думы, и мятежныя чувства. Онъ, страдая, на кого-то негодовалъ, кого-то яростно проклиналъ, угрожалъ кому-то, злобно и гнѣвно, и сулилъ жестокою мечь и расправу... Онъ рѣшилъ всѣ силы свои отдавать на то, чтобы исправить, перестроить и обновить эту страшную жизнь. Но что надо дѣлать — онъ не зналъ. Онъ учился. Ученіе не шло ему въ голову. И сидя за уроками, а позднѣе за лекціями, онъ все время томился и думалъ, что дѣлаетъ не то, что нужно... Университетъ пришлось ему оставить съ перваго же курса, и это не только не опечалило его, а, наоборотъ, обрадовало: онъ сталъ свободнымъ и могъ приступить къ дѣятельности «самой нужной». Но скоро онъ сказалъ себѣ, что въ сущности не знаетъ все-таки, какая она, эта «самая необходимая дѣятельность». Онъ присматривался, вдумывался, читалъ — и все боялся, у сомнѣвался... Одно время онъ тоже увлекался сіонизмомъ, — собиралъ «шекеля», организовалъ кружокъ, читалъ въ немъ рефераты, агитировалъ всячески, — но дѣлалъ это какъ-то нерѣшительно, вяло, безъ должнаго

увлеченія, а порою даже съ чувствомъ недоумѣнія и досады; и уже думалъ онъ, что такова несчастная особенность его темперамента — всегда колебаться и ощупывать, и пугался онъ этого, и негодовалъ на это, и страдалъ отъ этого сильно...

— Ничего не могу, ничего изъ меня не выйдетъ, — съ тоской и со страхомъ говорилъ онъ себѣ:— неврастеникъ, слабнякъ, и нѣтъ во мнѣ ни силы, ни порыва, ни огня...

Онъ становился мраченъ и угрюмъ, онъ страдалъ глубоко и постоянно, и темной и ненужной казалась ему его жизнь.

Онъ уѣхалъ потомъ въ Парижъ — учиться медицинѣ, какъ сказалъ онъ отцу. Но за два года пребыванія въ Парижѣ онъ едва ли двадцать разъ посѣтилъ лекціи... Были здѣсь встрѣчи съ людьми цѣльными и сильными, съ людьми мысли и темперамента, и были разговоры глубокіе и страстные. И книги были, такія, о которыхъ въ придавленномъ Мертвоводскѣ и не слыхали... Все больше и больше свѣта проливалось въ голову Якова, больше огня въ его сердце, и дорога его скоро развернулась передъ нимъ вѣрная и понят-

ная... Остаться на чужбинѣ дальше уже нельзя было, и онъ рѣшилъ вернуться домой, къ работѣ!..

Бодрымъ и гнѣвнымъ ѣхалъ онъ на родину, полный рѣшимости и силъ. И здѣсь, при видѣ родныхъ мѣстъ, такихъ несчастныхъ, такихъ убогихъ, онъ вдругъ почувствовалъ себя еще болѣе сильнымъ, еще болѣе рѣшительнымъ. Ненависть затопляла его сердце, и гнѣвъ загорался въ глазахъ...

Онъ продолжалъ смотрѣть по сторонамъ, на темныя берлоги. Тамъ гнѣютъ ремесленники, у которыхъ нѣтъ заказовъ, мелкіе служащіе, у которыхъ нѣтъ мѣстъ, мелкіе торговцы, у которыхъ нѣтъ товара. Безработные рабочіе, люди, не знающіе, куда броситься, люди безъ подобія опредѣленныхъ занятій; они маклеруютъ, попрошайничаютъ, паразитствуютъ, нищенствуютъ — среди другихъ, тоже маклерующихъ, тоже паразитствующихъ, но въ чуть-чуть болѣе крупныхъ размѣрахъ.

Насильственно сгущенная тьма душистъ тутъ всѣхъ. Искусственно прививаются пороки, уродуется и искореняется все, что есть въ

сердцахъ високаго, челоѣчнаго.

Всѣ конкурируютъ между собой и враждуютъ, и грызутся, и ябедничаютъ, и доносятъ. Сброшенные въ кучу, сжатые желѣзнымъ кольцомъ, люди въ бѣшеной свалкѣ, въ дикомъ напряженіи давятъ другъ друга и озлобляютъ, ожесточаютъ и растаптываютъ и, постоянно униженные, постоянно оплеванные, угрожаемые и истребляемые, въ судорогахъ голода, въ корчахъ болѣзней, рвутъ жалкій случайный кусокъ на тысячу крохъ. Больныя дѣти больныхъ отцовъ рождаютъ больное потомство, и младенцы уже въ чревѣ матери поражены туберкулезомъ, сифилисомъ и безуміемъ. Со скрюченными ногами, со вздутыми животами, съ глазами гнойными, покрытыя язвами и корою скверныхъ сыпей, изуродованныя, безкровныя, въ смрадѣ и грязи, какъ щенята въ выгребной ямѣ, копошатся здѣсь дѣти и мрутъ массаами, не узнавъ сытости, не узнавъ, что такое часъ безъ страданія.

Въ тоскѣ и страхѣ проходитъ здѣсь жизнь, здѣсь нѣтъ мѣста передышкѣ, здѣсь не видятъ къ себѣ милосердія. Нѣтъ пощады, нѣтъ под-

держки, гаснуть просвѣты и гибнетъ надежда. Стонъ, стоящій надъ кладбищемъ, еще мучительнѣе бѣется здѣсь. Угрозы перемѣшались съ пресмыкательствомъ, съ проклятіями униженная мольба. Здѣсь люди похожи на привидѣнія и дни ихъ ужасны, какъ кошмаръ, а сны мучительны, какъ дѣйствительность.

Но развѣ духъ погасъ?..

Развѣ не бродятъ здѣсь высокія мысли, не бурлятъ горячія чувства, мечтанія свѣтлыя не расцвѣтають, не проявляется воля сильная, и крѣпкіе, какъ гранитъ, не выходятъ отсюда гордые люди?..

О, изумительный, единственный, чудесный народъ!..

Подвода остановилась у небольшого, чистенькаго, свѣтло-коричневаго домика, съ крыльчкомъ и параднымъ ходомъ.

На нижней ступенькѣ крыльца стояла невысокая женщина лѣтъ пятидесяти, худощавая и блѣдная, — мать Якова, Шейна. У нея было больное колѣно, доктора велѣли ей лежать въ постели, и потому она не поѣхала встрѣчать сына. Но здѣсь, на крыльцѣ, она поджидала, опираясь на костыль, уже больше часа и съ радостной тревогой вперяла глаза въ даль, стараясь сквозь желтую мглу удушливой пыли разглядѣть подводу съ дорогимъ человекомъ

Тутъ же, подлѣ Шейны, стояла босоногая, щекастая дѣвчонка, Марфушка, и глуповатое, но милое лицо ея, тоже нетерпѣливое и взволнованное, когда подвода, наконецъ, подѣхала и остановилась, освѣтилось вдругъ такой радостью, такимъ счастьемъ, какъ если бы пріѣхалъ не паничъ — чужой человекъ, котораго Марфушка никогда и въ глаза не видала, а родной ея, долгожданный и горячо лю-

бимый братъ...

Яковъ нѣжно обнялъ мать, и бережно поддерживая, повелъ въ домъ.

— Гдѣ же отецъ? — спросилъ онъ.

— Не знаешь его? — отвѣтила Шейна;— онъ же всегда долженъ опоздать. Въ Гнилушкину экономію поѣхалъ, къ князю Абамелику, рапсъ покупать. Отложить нельзя было: князь вечеромъ уѣзжаетъ за границу... Марфушка! Вылупила глаза!.. Возьми же чемоданъ.

Щекастая дѣвчонка, въ стыдливомъ восхищеніи слѣдовавшая за пріѣхавшимъ и не сводившая съ него сіяющихъ, почти благодарныхъ глазъ, громко взвизгнула и, задыхаясь отъ восторга, кинулась обратно къ крыльцу, за чемоданомъ.

Войдя въ домъ, Яковъ снялъ съ себя пиджакъ и жилетъ и сталъ умываться. Мать, прихрамывая и стуча костылемъ, не переставая суетилась около него.

Въ первый разъ разсталась она съ сыномъ на такое, долгое время, и теперь, при встрѣчѣ, переживала чувства, совершенно неизвѣданныя, новыя. Каріе глаза ея, обыкновенно тусклые и усталые, теперь сильно ожи-

вились, они смотрѣли и весело, и скорбно, временами на нихъ набѣгали слезы, и женщина эта сама не понимала отъ чего — отъ радости, отъ умиленія, отъ темнаго ли предчувствія...

Сони въ комнатѣ не было: братъ говорилъ чортъ знаетъ что, оказался человѣкомъ чуждымъ, и она рѣшила, что его надо игнорировать. Она твердо рѣшила его игнорировать... Но не успѣлъ Яковъ окончить умываніе, какъ она появилась въ дверяхъ и заговорила:

— Какъ вы не понимаете того, что служите въ чужомъ станѣ!.. Вашими руками загребаютъ жаръ, разрушаютъ классовыя перегородки, а когда ихъ разрушатъ, васъ выпрутъ вонъ и ничего вамъ не дадутъ.

И когда Яковъ отвѣтилъ, что никто ничего не будетъ давать, и что евреи сами себѣ возьмутъ то же, что возьмутъ и другіе, Соня стала доказывать, что «взять не позволяютъ». У евреевъ берутъ все, — ихъ грудь, ихъ кровь, ихъ геніевъ, Меерберовъ, Лассалей, Гейне, Спинозъ, — а потомъ имъ предлагаютъ ассимилироваться, раствориться. Всѣ націи могутъ жить, даже самыя ничтожныя — албанская,

черногорская, сербская, — и только еврейство должно умереть, раствориться. И вѣдь этого требуютъ лучшіе люди. А между тѣмъ отъ кого получаютъ весь свой свѣтъ эти лучшіе люди? Кто ихъ Богъ и пророкъ? Еврей Марксъ. О, отчего Карлъ Марксъ не носилъ чисто еврейскаго имени, отчего не назывался онъ Мордухъ? Эти господа, которые требуютъ, чтобы еврейство растворилось, назывались бы теперь не марксистами, а мордухистами.

Якова споръ сталъ тяготить.

Сейчасъ по пріѣздѣ, не раздѣвшись, не умывшись, не спросивъ о родныхъ, не поговоривъ даже съ матерью, которая съ такой нѣжностью и такъ жадно на него смотритъ и ждетъ его рассказовъ, его вниманія, онъ ввязался въ это крикливое перебрасываніе горячими тирадами, и это такъ утомительно и раздражаетъ... А Соня больна, и споръ ее такъ волнуетъ, она кашляетъ и задыхается, и схватывается за сердце... надо бы прекратить, надо бы сейчасъ прекратить...

Но Якову неудержимо хотѣлось сдѣлать одно только маленькое, заключительное, послѣднее возраженіе, — за нимъ слѣдовало

другое, третье, а Соня, даже не выслушавъ брата, съ своей стороны затопляла его горячимъ потокомъ гнѣвныхъ, стремительныхъ словъ.

Съ тоской и съ тревогой слушала своихъ дѣтей Шейна. Она вздыхала, разводила руками, бросала умоляющіе взгляды то на сына, то на дочь, а временами, набравшись храбрости, изловчалась вставить слово, другое, и все пыталась увести дѣтей въ столовую...

А въ сосѣдней комнатѣ, притаившись, съ большой кастрюлей въ рукахъ, стояла Марфушка, и съ изумленіемъ, сердитая, смотрѣла черезъ растворенную дверь на то, что происходило передъ ней. Столько было разговоровъ о пріѣздѣ панича, съ такимъ нетерпѣніемъ его ожидали, такъ нѣжно мечтали о дорогомъ гостѣ, такія для него наготовили вкусныя печенія и варенья — и вдругъ, на вотъ тебѣ...

— Тільки що въ хату — и яка свара!

И Марфушка негодовала всѣмъ своимъ простымъ и чувствительнымъ сердцемъ. Уже она ненавидѣла «оцего чортяку», и была лютымъ врагомъ ему. Она слушала, слушала, — и все больше и больше закипала.

— У-у, горластый! Ажъ злякалась...

Полная огорченія и обиды, ушла она на кухню, забрала тамъ цѣлую гору мѣдной посуды и выйдя во дворъ, на кучу песку, принялась за чистку. До нея долетали голоса и Сони и Якова, но она не хотѣла ихъ слушать, и, чтобы оградить себя, она затянула пѣсню — да такъ визгливо, да такъ ожесточенно, что когда минутъ черезъ пять подѣхалъ къ воротамъ Соломонъ Розенфельдъ, мужъ Шейны, и издали взволнованно крикнулъ: «А что пріѣхалъ нашъ гость?» — то она ничего не разслышала и не отвѣтила.

— Пріѣхалъ нашъ гость? — повторилъ Розенфельдъ, торопливо слѣзая съ брички.

Не оглядываясь на хозяина, отчаянно визжа пескомъ по ярко сверкающей мѣди, Марфушка сердито буркнула:

— Пріѣхалъ.

И почти не понижая голоса, она добавила:

— Хай бы вінъ тобі сказывся, чортяка патлатый!

Появленіе отца заставило Соню и Якова нѣскольکو успокоиться. Пошли поцѣлуи, обычныя восклицанія, разспросы... Шейна воспользовалась измѣнившимися обстоятельствами и увлекла всѣхъ въ столовую.

Усѣлись вокругъ стола, и завязался живой, пестрый разговоръ — о заграницѣ, объ ученіи, о томъ, какъ свободно и легко живется евреямъ во Франціи, о новыхъ ограниченіяхъ для нихъ въ Россіи, о торговлѣ, объ урожаѣ...

Соломону Розенфельду было съ небольшимъ пятьдесятъ лѣтъ, но на видъ ему можно было дать всѣ шестьдесятъ, — такъ сѣда была его, въ свое время темно-русая, борода, такъ устало было его изборожденное морщинами мертвенно-желтое лицо. Движенія, впрочемъ, были у него довольно живыя, даже порывистыя, онъ быстро ходилъ, быстро и горячо говорилъ, и смѣялся громко и легко. И волосы на головѣ его, бѣлые, какъ сметана, торчали густые и плотные, какъ у юноши.

Онъ «занимался пшеницей», былъ агенто-

мъ крупной экспортной фирмы, и въ урожайные годы «крутилъ дѣла». На фонѣ мѣстной нищеты онъ считался человѣкомъ зажиточнымъ; на самомъ же дѣлѣ у него не было никакого состоянія, и это потому, что большую часть его заработка выматывало изъ него коммерческое начальство. И даже домишко Розенфельда былъ заложенъ у того же всевысасывающаго начальства.

Розенфельдъ былъ человѣкъ неглупый, довольно чистый въ смыслѣ нравственномъ и пользовался въ городѣ уваженіемъ и вліяніемъ. При старомъ городскомъ положеніи, когда евреи могли быть избираемы, его неизмѣнно выбирали въ гласные и даже, если онъ не отказывался самъ, въ члены управы. Онъ не игралъ въ карты, не ходилъ въ клубъ, въ свободные зимніе вечера любилъ читать, и бѣда была только та, что книгъ въ городкѣ почти не имѣлось. Самоучкой онъ одолѣлъ — съ грѣхомъ пополамъ, впрочемъ, — нѣмецкій языкъ, и въ его конторѣ, за стеклянными дверцами ясеневаго шкапчика можно было видѣть ряды томиковъ, — сочиненія Гёте, Шиллера, Гейне и другихъ

нѣмецкихъ авторовъ.

— А ты порядкомъ измѣнился, — сказалъ Розенфельдъ, взглядываясь въ сына. — Борода... и угрюмый такой сталъ... Въ твои годы не надо быть угрюмымъ, успѣешь еще... Еще будетъ время намучиться.

— Развѣ еврей можетъ не быть угрюмъ, — встала Шейна. — Слава Богу, подумать есть о чемъ... Кажется, о чемъ должно передумать еврейское пятилѣтнее дитя, то русскому хлопцу даже до самой свадьбы въ голову не придетъ.

— Во всякомъ случаѣ, сегодня серьезность и всякая тамъ хмурость въ сторону, — весело проговорилъ Розенфельдъ, быстро пересаживаясь на другой стулъ. — Можно себѣ иногда позволить имѣть и свободное лицо.

— Ты правъ, папаша, совершенно правъ.

Яковъ дружески улынулся отцу. Онъ и самъ очень не прочь былъ имѣть теперь и «свободное лицо», и свободную душу. Такъ хотѣлось покоя, такъ нуженъ былъ отдыхъ послѣ семидневнаго путешествія третьимъ классомъ, послѣ массы наблюдений, сопоставлений и размышлений, горькимъ бре-

менемъ навалившихся на сердце за время этого путешествія.

И обстановка была теперь такая, что спокойствіе могло бы пролиться въ душу. Мягкій сумеречный свѣтъ, самоваръ, котораго не видишь за границей, чистая скатерть, всѣ эти домашніе коржики и варенья, и старая, наивная, нѣсколько смѣшная мебель, и нѣжное, ласково-печальное лицо матери, и товарищески-дружелюбный тонъ отца, хоть и посѣдѣвшаго еще сильнѣе, но все же подвижного, бойкаго, и такого милаго, милаго, — все это настраивало на какой-то добродушный, тихій, дружескій ладъ, трогало и умиляло. И хотѣлось упиться этимъ умиленіемъ, хотѣлось хоть на время забыть обо всемъ грозномъ и жуткомъ, — о вопросахъ мучительныхъ, объ идейномъ разладѣ, о томъ, что дѣлается тамъ, за стѣнами этой старенькой столовой, хотѣлось довѣриться ей, родной и ласковой, отдаться, покориться...

Но что-то мѣшало Якову... Что-то жесткое и несдвигающееся давило ему душу, и онъ чувствовалъ себя неловко, стѣсненно. Точно посадили его въ тотъ узкій промежутокъ,

между буфетомъ и стѣной, на который невольно устремлялись его глаза...

Его глаза устремлялись туда для того, чтобы не встрѣчаться со взглядами сестры. Соня сидѣла мрачная, тревожная, почти злобная. Было видно, что она осуждаетъ и это чаепитіе, и эти пустые разговоры, тяготится, и съ нетерпѣніемъ ждетъ, когда это окончится. Она походила на большое темное облако, которое въ лѣтній день проносится надъ кроткою нивой, и все разрастается, и все чернѣетъ, и оттуда, сверху, высматриваетъ мѣсто, на которое нужно ринуться грознымъ и буйнымъ дождемъ.

— Сонечка, ты сидишь такая надутая, точно Яша у тебя жениха отбилъ, пробовалъ пошутить Розенфельдъ.

Соня сдѣлала видъ, что улыбается, и старику стало стыдно: онъ почувствовалъ, что шутка вышла плоской и неумѣстной...

Послѣ нѣкоторой паузы опять пошли разговоры о пустякахъ, легкіе и вздорные разговоры, — тѣ именно, которые такъ хотѣлось бы вести теперь Якову, и которые, однако же, смущали его и конфузили.

Стемнѣло. Зажгли лампу и убрали самоваръ.

Пришло нѣсколько знакомыхъ и родственниковъ. Уже полъ-города знало о прїѣздѣ Якова, и всѣмъ хотѣлось взглянуть на небо, заграничнаго человѣка. Разговоръ сдѣлался оживленный, шумный. Какъ-то незамѣтно исчезла Соня, пронесло облако мимо, и Якову стало легче на душѣ, и онъ болталъ безъ умолку.

Просвѣтлѣло и лицо Шейны, она все топталась около сына и, желая сдѣлать ему что-нибудь прїятное, причиняла массу маленькихъ огорченій и неудобствъ. Но ему отъ всего этого было весело, онъ радостно смѣялся и, разнѣжничавшись, по-дѣтски ласкался къ матери и цѣловалъ ее. А потомъ, вдругъ вспомнивъ, бросился къ чемодану и сталъ вытаскивать изъ него подарки. Матери онъ привезъ шелковый кружевной шарфъ, сестрѣ вѣеръ, отцу табачницу съ видомъ Эйфелевой башни.

Публика осматривала подарки, ощупывала, взвѣшивала на ладони, обмахивалась вѣеромъ, изумлялась и почтительно расхваливала чистоту и изящество заграничной работы. Маклеръ Халанай, глупое, льстивое и

плутоватое существо, долго ощупывалъ кружевной шарфъ, съ авторитетнымъ видомъ глубокаго, многоопытнаго знатока, и, чмокая языкомъ и таинственно щуря воровскіе глаза, приставалъ ко всѣмъ.

— Убратите ваше вниманіе!.. Вы только обратите вниманіе!..

Всѣ обращали вниманіе и находили, что дѣйствительно — шарфъ необыкновенный. И только одна Марфушка, приходившая накрывать на столъ къ ужину, на подарки почти не взглянула. Она латинскихъ изреченій не знала, о существованіи данайцевъ, дары приносящихъ, и не подозрѣвала, но отъ врага своихъ хозяевъ не хотѣла и подарка, — даже и для нихъ самихъ.

— Ну, что же вы скажете на моего француза? — развалившись въ креслѣ и совершенно размякнувъ, спрашивалъ гостей счастливый Розенфельдъ.

— Наполѣнь! Настоящій Наполнь! убѣжденно отвѣчалъ знатокъ Халанай.

VII

Часамъ къ одинадцати, когда уже отуживали, и гости почти всѣ разошлись, вернулась Соня.

Лицо у нея было крайне усталое, но довольное и веселое. Она подсѣла къ отцу и начала рассказывать о своихъ дѣлахъ. Дѣла шли отлично: число членовъ сіонистскаго кружка возрастало удивительно быстро. Въ субботу прочтеть рефератъ извѣстный ораторъ Кременецкій, котораго выписали изъ Вильны. Въ сіонистскомъ хедерѣ, гдѣ обучаютъ и воспитываютъ въ строго сіонистскомъ духѣ, успѣхи просто поразительные. Дѣти чудесно читаютъ и говорятъ по-древнееврейски, и невозможно слушать безъ волненія, какъ они на этомъ языкѣ поютъ о близкомъ переселеніи въ св. Землю.

Съ выраженіемъ счастливымъ и умиленнымъ рассказывала обо всемъ этомъ Соня, и она совсѣмъ не замѣчала, что дыханіе у нея частое и прерывистое, и что щеки ея горятъ въ лихорадкѣ.

Сначала она обращалась почти исключи-

тельно къ отцу, но скоро пересѣла къ брату.

Теперь она говорила съ нимъ тономъ горделивымъ, слегка снисходительнымъ, а временами прорывались у нея нотки чисто отеческія. Она готова была ласково пожурить заблудшаго и въ награду за чистосердечное раскаяніе подарить полной амнистіей... Впрочемъ, эта снисходительность потомъ исчезла, и Соня, вся затопленная нѣжностью и добротой, уже безъ всякихъ заднихъ мыслей и плановъ просто и безхитростно дѣлилась своими радостями съ Яковомъ, и онъ уже не былъ противникомъ, котораго нужно было побѣдить, а единомышленникомъ, добрымъ другомъ, горячо любимымъ братомъ, къ которому такъ и рвалась переполненная, свѣтло настроенная душа, который и посочувствуетъ, и посовѣтуетъ, и порадуется, и загорится вмѣстѣ съ ней при побѣдѣ, и отъ нея же неудачи поникнетъ...

Яковъ странно чувствовалъ себя отъ этого. Все, что говорила сестра, казалось ему наивнымъ, нелѣпымъ. Гнилью и тлѣніемъ, удушливымъ запахомъ плѣсени вѣяло на него отъ ея идеаловъ. Она была на ложномъ пути, на

вредномъ пути — и ему хотѣлось это крикнуть ей, объяснить, доказать. И онъ даже не чувствовалъ себя больше усталымъ, и слова и мысли въ немъ клокотали и бились, и рвались наружу.

Но онъ смущенно взглядывалъ на горящія щеки сестры, на ея странно расширившіеся, недобрымъ блескомъ блестящіе глаза, — и холодъ и страхъ проливались къ нему въ сердце, и уста смыкались...

А молчать тоже было трудно. Молчать нельзя было: очевидно, она молчаніе принимаетъ за сочувствіе. Онъ не возражаетъ, не споритъ, значитъ соглашается. Своимъ молчаніемъ онъ поддерживаетъ въ ней это заблужденіе, и это прямо нечестно... И кромѣ того, обидно за свои идеалы, которые попираются этими уродливыми разсужденіями узкой и близорукой сіонистки...

Соня же, ласковая и кроткая, воодушевляясь все больше и больше, и вся сіяя, рассказывала брату, что и сама уже научилась довольно сносно писать по-древнееврейски, что въ Іерусалимѣ устраивается національная бібліотека, и что сіонистскіе кружки органи-

зовались теперь и въ Пекинѣ, и въ Йоганесбургѣ...

— Самые дѣятельные сіонисты — это не Герцль, не Нордау, — не выдержалъ, наконецъ, Яковъ, мрачно смотрѣвшій куда-то въ сторону, — а Суворинъ и Крушеванъ. Породили сіонизмъ, распространяютъ его и укрѣпляютъ не тѣ, кого вы считаете вашими вождями, а тѣ, которые насъ бьютъ. Пусть завтра обстоятельства улучшатся, пусть прекратятся погромы и будетъ удвоена процентная норма въ гимназіяхъ, — и сіонизмъ получитъ самый серьезный ударъ.

Соня быстро, какъ если бы ея внезапно коснулись раскаленнымъ желѣзомъ, вскочила съ дивана.

— Оставь! Оставь! — вскрикнула она, замахавъ руками.

— Пусть уничтожатъ процентную норму совсѣмъ и выпустятъ насъ изъ «черты», и сіонизмъ очень скоро умретъ естественной смертью, — не мѣняя тона, и съ тѣмъ же сумрачнымъ, упрямымъ лицомъ договорилъ Яковъ.

— Яшенька, ты же такъ усталъ, — встрево-

женно поднялась вдругъ Шейна:- ты даже не отдохнулъ съ дороги, не полежалъ. Поди, ляжь.

— Да, я пойду...

— Это возмутительно! — съ силой, но вполголоса проговорила Соня, вздернувъ плечами.

Сразу и до послѣднихъ слѣдовъ исчезло ея благодушное, ласковое настроеніе, и цѣлое море вдругъ отдѣлило ее отъ брата...

— Это такъ неизменно, такъ жалко, — сказала Соня, — это такъ пошло, что я... что... — она подбѣжала къ Якову. — Это только вы, мелкіе, пошлые, нищіе духомъ люди, можете такъ смотрѣть на вещи. Огромное, великолѣпное движеніе, которое раскинулось по всему земному шару, вы думаете остановить удвоеніемъ процентной нормы, какой-нибудь гнусной взяткой...

— Мы не будемъ останавливать твое огромное движеніе, — силясь быть спокойнымъ, сказалъ Яковъ. — Оно само собой остановится.

— Черта, процентная норма, игнатьевскія «временныя правила» — вотъ что васъ тяго-

титъ!.. Жалкіе вы люди! За чечевичную похлебку гражданскихъ правъ вы продадите и народъ, и его культуру, и его духъ.

— Яшенька, ты же сказалъ... — начала было Шейна.

Но Соня загородила ей дорогу и съ вызывающимъ видомъ стала передъ братомъ. Она встревожена, возмущена была до глубины души. Передъ ней стоялъ теперь не противникъ даже, а врагъ — почти предатель. И слова, которыми она его осыпала, были похожи на вылетающіе изъ кратера раскаленные камни.

— Вы рабы, вы несчастное порожденіе двухтысячелѣтняго ига. Вы любите цѣловать кулакъ, который разбиваетъ вамъ черепъ! И лучшія грезы ваши не идутъ дальше того, что настанетъ когда-нибудь счастливая пора, когда будутъ бить уже не въ лицо, а въ затылокъ. Холопы!

— Васъ называютъ фантазерами, утопистами, — кричалъ Яковъ:— я и такъ васъ не назову. Вы и не безумцы, вы просто человѣчки съ крохотнымъ мозгомъ.

— Пстой, пстой, Яковъ, вмѣшался старый Розенфельдъ. — Это ты напрасно: среди

сіонистовъ есть люди ученые, большіе профессора и знаменитые мыслители...

— Соломонъ! оставь хоть ты! — съ отчаяніемъ бросилась къ мужу Шейна.

— Вотъ какой у нихъ мозгъ, — отмѣриваль у себя на мизинцѣ Яковъ. — Невѣжды, тупицы...

Съ лицомъ хмурымъ и злымъ онъ доказываль, что исторія не знаетъ примѣровъ, когда государства создавались бы по заказу. Люди жили для себя, искали хлѣба, работы, безопасности для семьи, организовывали самозащиту, а государство выросло потомъ само собою, какъ естественный и неизбѣжный результатъ напряженныхъ заботъ каждаго о своемъ собственномъ благополучіи. Сіонисты же всякаго изголодавашагося, больного, избитаго еврея, еле спасагося отъ кулака и топора громилы, хотять заставить думать и работать не для себя и своихъ дѣтей, а для какого-то химерическаго государства. Прутъ противъ незыблемыхъ законовъ исторіи и природы, и думаютъ, что заставятъ солнце всходить съ запада...

— Исторія не знаетъ примѣровъ! — сарка-

стически восклицала Соня. — Какой ужасъ! Исторія не знаетъ, а мы покажемъ эти примѣры. Вы — рабы, рабы всего, вы рабы и исторіи. Вы ея рабы, а мы ея повелители. Мы сдѣлаемъ то, что до насъ не дѣлалъ никто. Мы и исторіи укажемъ новые пути!..

VIII

И долго еще стоялъ этотъ споръ подъ кровлей Розенфельдовъ и дѣлался онъ все страстнѣе и бурнѣе.

Спаль городокъ.

Спали голодные, измученные, униженные люди, — но сонъ не давалъ имъ успокоенія и мира, и они и во снѣ вскрикивали и метались. Вся пережитая боль, весь испытанный ужасъ, вся горькая тоска долгихъ, долгихъ черныхъ дней — отливались въ дикія безумныя видѣнія, и, несчетныя, носились видѣнія подъ низкими потолками смрадныхъ конуръ и давили здѣсь и взрослыхъ, и дѣтей. Чернымъ сонмомъ кружились они, побѣдныя и ликующія, и захлебываясь, въ страшномъ молчаніи, пили кровь, — человѣческую кровь... Богъ не останавливалъ жестокаго пира. И только два юныхъ человѣка, — дѣвушка, пораженная смертельной болѣзью, и ея братъ, быть можетъ, тоже носившій уже въ себѣ страшное имя того же недуга — со страстью, съ гнѣвомъ, съ затаенными слезами, трепеща и стораая, шли на роковую борьбу...

Рѣзкимъ приступомъ раздирающаго, гулкаго кашля Соню внезапно перегнуло пополамъ, и она быстро схватилась за край стола. Спина ея, узкая, сутулая, сильно колыхалась отъ непрекращавшихся внутреннихъ толчковъ, и колыхался и столъ. Звуки кашля, трепетные, зловѣщіе, наполнили комнату и бились во всѣхъ углахъ ея.

— Боже мой, Боже мой! — въ отчаяніи стонала Шейна, прижимая къ груди ладони. — Когда это окончится!..

— Тише, будетъ тебѣ...- вполголоса сказалъ женѣ старый Розенфельдъ, самъ растерянный и возбужденный. — Погоди, сейчасъ они разойдутся... Яковъ? — просительно посмотрѣлъ онъ на сына. — Видишь вѣдь...

— Ухожу, ухожу, — торопливо пробормоталъ Яковъ и взялъ со стола давно приготовленные для него свѣчку и спички.

— Мы не растворимся! — выпрямилась вдругъ Соня.

Она платкомъ вытирала затопленные слезами глаза и мокроту съ губъ.

— Нѣ-ѣ-ѣтъ, мы не растворимся! Въ святую землю, подъ сѣнь вѣковыхъ кедровъ, къ моги-

ламъ великихъ и святыхъ вождей, къ могиламъ пророковъ и царей, слагавшихъ псалмы, поведемъ мы народъ нашъ! И чудо свершится. Всѣ страданія народа, и вся невинно пролитая кровь его, и слезы его, и живьемъ сожженные тѣла, и женщины опозоренныя, и съ крышъ на камни сброшенныя дѣти, — всѣ замученные и раздавленные, всѣ стоны ихъ и молитвы, и предсмертные хрипы — все претворится въ радость и сіяніе для грядущихъ поколѣній!.. Говорю тебѣ, что такъ оно будетъ! Чудо должно быть, чудо должно быть!.. И человекство пойдетъ за нами, мы озаримъ ему путь! Мы разъ уже дали ему Бога, и мы снова спасемъ его. Впереди всѣхъ пойдёмъ мы, я вѣрю! Свѣтлые, сильные, радостные! И умиротворенные народы, обрѣвшіе новаго Бога, послѣдуютъ за нами... И тогда пусть! Пусть тогда наступитъ всеобщее сліяніе, и пусть создастся на землѣ одинъ, единственный и высшій народъ!

Соня окончила звонкой, острой нотой. И въ ушахъ Якова эта нота царила еще долго послѣ того, какъ дѣвушка умолкла.

Онъ съ изумленіемъ, потрясенный,

смотрѣль на сестру.

Какъ высшее, непонятное, откуда-то сверху сошедшее существо, какъ пророкъ, стояла она, вдругъ выросшая, прямая, вся осіянная свѣтомъ энтузіазма, вся преображенная огнемъ вдохновенія. Мощь, великая мощь несокрушимаго, всепобѣждающаго духа была въ ея глазахъ, въ поднятой кверху рукѣ, въ сверканіи бѣлыхъ и острыхъ зубовъ.

И все приникло въ домъ и затихло. И только за окномъ какъ будто что-то трепетно шелестѣло, и тамъ становилось свѣтлѣе. Злобные призраки, чернымъ сонмомъ носившіеся по спящему городку и терзавшіе его, дрогнули въ испугъ и стали разсѣваться и исчезать...

Яковъ стоялъ неподвижно, съ мѣднымъ подсвѣчникомъ въ одной рукѣ, съ полуоткрытой коробкой шведскихъ спичекъ въ другой, и не зналъ, что дѣлать.

Моменты высокаго душевнаго подъема были знакомы и ему, но то, что происходило теперь съ Соней, поразило его и смутило.

— Истерія... бредъ... — подползали къ нему смрадные, липкія, какъ ящерица, слова. Но

онъ раздавилъ ихъ съ омерзѣніемъ и гнѣвомъ.

И ему хотѣлось подойти къ сестрѣ, взять ее за руку... поклониться ей, — но онъ не посмѣлъ... или ему было стыдно... И онъ продолжалъ стоять, съ подсвѣчникомъ и спичками, и не зналъ, что дѣлать.

А у Сони красная капля выступила въ углу рта, и это походило на то, что дѣвушка держала во рту булавку съ коралловой головкой. Мгновеніе коралль продержался, потомъ дрогнулъ, покатился внизъ, и на подбородкѣ повисъ, оставивъ на смуглой кожѣ алый слѣдъ.

— Дитя мое, Сонечка, доченька! — взмолилась Шейна, схвативъ дочь за обѣ руки:— что хочешь дѣлай со мной... въ другой разъ... въ другой разъ я тебѣ уступлю... а теперь пойдёмъ... отдохни.

Соня посмотрѣла на мать, — прямо въ глаза ея, — и лицо у ней сдѣлалось вдругъ скорбнымъ и нѣжнымъ. Она провела платкомъ по подбородку, тихо вздохнула и, поддерживаемая матерью, пошла къ дверямъ.

Яковъ, не шевелясь, исподлобья смотрѣлъ

на удалявшуюся сестру; и когда та скрылась за дверью, глаза его продолжали упираться въ притворенную дверь...

Онъ тихо пожалъ потомъ плечами и чиркнулъ спичкой по коробочкѣ. Спичка сломалась, не вспыхнувъ. Яковъ положилъ тогда коробочку на подсвѣчникъ и съ незажженной свѣчой направился въ свою комнату. Шелъ онъ на цыпочкахъ, осторожно опуская ноги, и отчего шелъ такъ — не зналъ, и объ этомъ не думалъ.

И Соломонъ Розенфельдъ тоже безшумно, и какъ будто крадучись, вышелъ изъ этой комнаты и исчезъ въ мутномъ сумракѣ обширной конторы.

Глаза старика полны были странной тревоги, и пальцы судорожно путались въ бѣлой, какъ саванъ, бородѣ...

Всколыхнулось все, встревожилось, бьется и ищетъ выхода, рветъ оковы и съ грохотомъ сноситъ преграды. Молодою кровью орошается крутая дорога, пламенемъ сгорающихъ душъ освѣщается она, — и гдѣ же конецъ, конецъ?

Вокругъ стенанья, вопли, неслыханная и

безумная боль... Спать городокъ... Черезъ нѣсколько часовъ онъ проснется, — и какъ и вчера, какъ и завтра, день полонъ будетъ униженія, и страха, и скорби, и лишеній, — лишеній, какихъ не можетъ выносить человѣкъ. Больные младенцы припадутъ къ высохшимъ грудямъ изнуренныхъ матерей, и не найдя въ нихъ молока, безъ плача, для котораго тоже вѣдь силы нужны, будутъ корчиться отъ жгучаго голода. И ихъ изсушенные матери, и ихъ полуживые отцы, посинѣлыми, потрескавшимися губами, блуждая угасшими взорами, въ замираніи страха, въ тоскѣ безпросвѣтности, разбитыми, изъязвленными голосами будутъ что-то говорить, объ эмиграціи, о странахъ на томъ краю океана, о хлѣбѣ, о правдѣ, о жизни...

И о Богѣ будутъ говорить они, о великомъ и милосердомъ Богѣ, все же не оставляющемъ народа своего и посылающемъ ему дѣтей, крѣпкихъ и сильныхъ, — дѣтей, которыя бьются и ищутъ выхода, рвутъ оковы и съ грохотомъ сносятъ преграды, — дѣтей, которыя кровью своею орошаютъ крутую дорогу и пламенемъ сторающихъ душъ своихъ озаря-

ють глибокія дали ея...

И скоро кінець, кінець...

IX

— Соломонъ, — проговорила Шейна, поднимая къ мужу убитое, смоченное слезами лицо. Соломонъ...

Она уже минутъ пять сидѣла въ конторѣ, на длинной деревянной скамьѣ, но взволнованный, поглощенный своими думами, старикъ Розенфельдъ ея не замѣчалъ.

— Погибли наши дѣти, съ тихимъ рыданіемъ говорила Шейна:— погибли...

Смертельная скорбь дрожала въ ея голосѣ.

— На старости лѣтъ мы останемся одни... одиноки, какъ камни...

Старикъ молчалъ.

— Людямъ счастье, продолжала Шейна: — какая-нибудь Меерштейниха, кто она? Кто былъ ея мужъ? процентщикъ, доносчикъ, послѣдній человѣкъ! И ея дѣти кто такія? грубые характеры, мужланы всѣ вѣдь это скажутъ. А посмотри, какъ они пристроены: одинъ — докторъ, другой — инженеръ и получаетъ шесть тысячъ, дочка за агентомъ варшавскаго банка... А наши... Сонечка... если она не оставитъ этого сіонизма... не знаю, пе-

реживетъ ли она осень, а Яша... — Шейна затрепетала: — его у насъ отнимутъ...

Розенфельдъ держался обѣими руками за рукоятку копировальнаго прессы и сумрачно уткнулся глазами въ землю.

— Надо, чтобы мы переговорили съ ними, — вдругъ переставъ плакать сказала Шейна. — Пусть они пожалѣютъ насъ. Я буду на колѣняхъ молить... Я буду землю цѣловать передъ ними, я все сдѣлаю...

— Не поможетъ! — рѣзко оборвалъ Розенфельдъ. — Ничего не поможетъ! Мы ничего не можемъ и они сами тоже ничего не могутъ. Ты понимаешь это?.. Ты сидишь дома, ты не знаешь, что дѣлается. Черные дни настали на землѣ, какъ гора жизнь давить людей. Миръ гибнетъ! Камни кровью залиты, и въ Бугѣ не вода, а кровь человѣческая течетъ... Идешь по улицѣ, ѣдешь полемъ, ночью гдѣ-нибудь на площади очутишься, никого нѣтъ, а плачь такъ и звенить... Я знаю? Можетъ быть, это мертвецы плачутъ и молятъ за насъ Бога. Невозможно больше терпѣть, невозможно!..

Старикъ снялъ руки съ копировальнаго

пресса и сложилъ ихъ на груди. Въ тускло-освѣщенной, просторной и пустой конторѣ, среди безмолвія ночи, съдой, блѣдный, съ сверкающими, смятенными глазами, онъ на разстроенную, убитую Шейну производилъ впечатлѣніе жуткое, пугающее. Онъ казался загадочнымъ, дикимъ; что-то таинственное и опасное было въ немъ, и блѣдная женщина вдругъ сторбилась вся, съежилась и забилась въ уголь.

— Невозможно! — шипящимъ шопотомъ сказалъ старикъ, впиваясь въ жену глазами. — Это ледоходъ!.. Выйди во время ледохода на берегъ и поставь заборъ, перегороди льду дорогу, — поможетъ?.. Когда все уже взломилось и ищетъ выхода, и несется впередъ — поможетъ тебѣ?

Старикъ сдѣлалъ шагъ къ женѣ и нагнулъ голову.

— И я и не хочу, чтобы помогло, отчетливо, раздѣляя слоги и напирая на нихъ, сказалъ онъ. — Дѣти Меерштейнихи, ты говоришь: дѣти доносчика процентщика?.. Пусть! Пусть! А мои дѣти... Моя молодость далека, свою жизнь я потерялъ, я ничего не сдѣлалъ... Я въ

конторской передней воспитался, я темный человекъ, я остался ничтожнымъ пшеничникомъ. Но меня Богъ благословилъ дѣтьми, — и они пусть идутъ!..

Онъ на мгновеніе остановился.

— Я не знаю, кто изъ нихъ правъ: Яковъ или Соня, но... — Онъ поднялъ кулакъ и сдѣлалъ такой жестъ, какъ если бы забивалъ гвоздь. — Пусть они идутъ! пусть они идутъ!.. — съ силой сказалъ онъ и отвернулся.

Онъ отвернулся, — и страхъ вдругъ объялъ его, темный, позорный, въ мучительный трепеть ввергающій страхъ.

Коралловая капля въ углу сжатаго рта сверкнула во мракъ, и шопоть предсмертный прохрипѣлъ, и потянулось подъ погребальное пѣніе черное шествіе... И другое шествіе затуманилось въ глубинѣ, уже не черное, а сѣрое... Кандалы забряцали, сверкнули штыки... Вокругъ снѣга, и льды, и дикіе звѣри, и дикіе люди, и ночь, которой нѣтъ конца, и мука, которой нѣтъ исхода...

Нѣтъ дѣтей, нѣтъ дѣтей, нѣтъ дѣтей...

И онъ, старый и больной, всю жизнь

страдавшій и носившій ярмо для дѣтей, одинъ остался ко склону дней своихъ съ Шейной, и безъ словъ сидятъ они другъ противъ друга, сдавленные пустотой, замученные думой, одинокіе и нѣмые, какъ камни...

И усталое, высохшее тѣло старика трепетало отъ тяжкаго и ненавистнаго страха.

Нѣтъ дѣтей... нѣтъ дѣтей... нѣтъ дѣтей...

Х

А Шейна, поднявъ голову, съ новымъ чувствомъ смотрѣла на мужа...

И ей было страшно, и ей было больно, но что-то бодрое и величавое забилося въ ея груди...

Въ эту минуту она не завидовала Меерштейнихъ.

Понятнымъ сдѣлался мужъ, роднѣ стали вдругъ дѣти, — и въ глазахъ загорѣлось выраженіе гордаго вызова...

Примечания

По-еврейски — собака.

[^^^]